

Борис Носик

Гоч



Часть сборника
Пионерская Лолита (сборник)



Борис Носик

Гоч

«Автор»

1986

Носик Б. М.

Гоч / Б. М. Носик — «Автор», 1986

"... – Конечно, если бы ты посватался к местной девушке, все стало бы и сложнее, и проще, – объяснял Невпрус дорогой. Они с Гочем взбирались по склону к вагончику энергетиков, где приветно светились окна. – Мы внесли бы за тебя калым, потом была бы свадьба, и на ней ты увидел бы свою невесту. К сожалению, мой горный друг, оба мы небогаты. До такой степени небогаты, что ни о каком калыме просто не может быть речи, иначе я женил бы тебя здесь, и только здесь... – Гоч растроганно кивал. – С русской девушкой все будет иначе, – продолжал Невпрус увлеченно. – С ней нужно познакомиться заранее, до свадьбы. Ей еще надо понравиться. За ней, может, придется поухаживать, надеюсь, впрочем, что не очень долго. Для меня все это было бы слишком утомительно, но ты еще молод, и тебя это, может быть, даже развлечет. Зато, конечно, никогда нельзя поручиться за прочность такого недорогостоящего союза. Впрочем, все тут будет зависеть от вас, от вас обоих, и только от вас, от вашей, так сказать, осознанной или неосознанной необходимости, ибо мы живем в царстве сексуальной свободы..."

© Носик Б. М., 1986

© Автор, 1986

Содержание

Часть I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Борис Носик

Гоч

Фантастическая повесть

Часть I

Азия

Ни днем, когда солнце сияло над снежными склонами, ни даже под вечер, когда тень неумолимо ползла вниз вдоль подъемников, а вдали, за первой чередой вершин, солнце колдовало закатным зельем среди палевых, розовых, почти прозрачных или угрожающе-черных облаков, томительное ощущение неясной тоски и тайны не посещало Невпруса. И лишь после спуска, когда, топая тяжеловесными ботинками по коридору горнолыжной гостиницы, подходил он к своей двери, он сразу вспоминал обо всем – о странных следах в коридоре, о явственном сопении под дверью, о голубоватой светящейся тени под окном, о своей тревожной бессоннице, о медленно-тягучем времени, о неодолимой здешней тоске...

Впрочем, на ближайшие несколько часов после лыж у него еще оставались кое-какие занятия: переодеться, поесть, написать страничку-другую, чтоб отчитаться в Москве за командировку, почитать толстую книжку об офицерах 1812 года. Но вот уж после этого... После этого заняться ему было решительно нечем, и состояние его духа становилось весьма плачевным.

Писать в эту пору не хотелось, надоевшая книжка подходила к концу, а спускаться вниз в долину, спасаясь бегством, тоже не было смысла – нигде в мире солнца сейчас не было, здесь же... Поколебавшись немного, Невпрус оставался еще на неделю, потом еще и еще, хотя изнывал вечерами от скуки и все больше мучился из-за ночных страхов. Не испытывая сомнений в своем душевном здоровье, он пытался отыскать реальную причину своего страха, проводя всяческие эксперименты, расставляя капканы и ловушки (в том числе и себе самому), однако обшарпанная горнолыжная гостиница не открывала ему своей тайны.

Гостиница расположена была всего километрах в шестидесяти от столицы республики, на окруженном горами суровом плато, невдалеке от столь же сурового кишлака. Горные лыжи были здесь в новинку, так что во всей мусульманской республике не насчитывалось и двух сотен горнолыжников, и ведомственная эта гостиница чаще всего пустовала. Впрочем, вокруг нее любители катания понастроили всяких домиков и наставили жилых вагончиков, так чтобы им можно было приехать сюда покататься – на несколько дней или хотя бы на субботу и воскресенье. По воскресеньям приезжали сюда на ведомственных или частных машинах также и не охваченные горнолыжным спортом жители этого города, в котором снег был редкостью. Они так радовались снежному склону, точно это было какое-нибудь северное сияние или пальмовая роща на берегу океана. Визжа, они валялись в снегу, а также съезжали вниз по дороге, усевшись на полиэтиленовые подстилки и куски клеенки. Потом они выпивали, закусывали и отбывали в город, а на суровом плато снова воцарялась тоскливая тишина. Вот тогда-то, в черной непроглядности и одиночестве ночи Невпрус покидал свою убогую комнатку и, выйдя под звездный полог среднеазиатского неба, с тревожной тоской оглядывал тихий корпус гостиницы и раскиданные по склону жилые вагончики. В некоторых из них горел свет: значит, кое-кто остался, чтобы покататься и в будни, за счет своего отпуска, отгула или просто прогула. Удивляясь самому себе, Невпрус вздыхал облегченно, радовался, что он был не один на плато. Странно, разве не затем поселился он здесь, чтобы побыть одному? Противоречие это было неразрешимо: человек стремится к одиночеству, оно плодотворно для его работы, оно успо-

коительно. Однако, оставшись один, человек начинает тянуться к людям, хоть каким-нибудь людям.

Невпрус заходил в сторожку, пил зеленый чай, угощался лепешками, выслушивал рассказы сторожей о семье и детях или воспоминания об армейской службе. Иногда, не выдержав одиночества, Невпрус шел куда-нибудь в вагончик нефтяников или энергетиков. Это все были начинающие горнолыжники, городские инженеры или даже ученые. Вечерами они играли в преферанс перед громко кричащим телевизором. Современные русские инженеры не любили интеллигентских разговоров, им хватало телевизора. Вполне возможно, что они, будучи сослуживцами, давно уже знали все, что может сказать каждый из них. Во всяком случае, телевизор был гораздо компетентнее их по части говорения, и они доверяли ему всю разговорную часть. К тому же телевизор умел показывать живые картины – движущиеся трактора, рыбу, которая сыпалась из сетей в трюмы сейнеров, суетливые шестерни машины, а порой и людей – передовиков производства и передовых деятелей наук, искусств и партийных ремесел. Международные комментаторы благородными голосами говорили о коварных замыслах президента Рейгана («Что с ним до сих пор церемонятся?» – рассеянно встречал иногда кто-нибудь из картежников, но тут же возвращался к делу, которое не терпит рассеянности) и миролюбивых намерениях известного гуманиста полковника Каддафи, потом терпеливо перечисляли все несчастья и катастрофы, имевшие место за истекшие сутки на просторах Европы к западу от Берлинской стены или же в злосчастном Западном полушарии. Невпрус терпеливо ждал, когда энергетики кончат играть в карты и выключат телевизор, но в самый последний момент, когда уже начали накрывать на стол, он вдруг уходил, устыдившись своей бесцеремонности.

Перед сном Невпрус снова читал книгу про незабываемый 1812-й, про поэтов в эпохе, гусаров-красавцев и образованных графов, про декабристский альтруизм, про мадригалы и балы, про жестокую расплату за альтруизм, за непослушание, за доброхотство... Незаметно он переходил в сон, однако вскоре просыпался, заслышав хрустящие шаги под окном. Невпрус поднимался с постели, стараясь не производить шума, и иногда ему удавалось увидеть тень, призрак тени, ускользающей из-под его окна, – очень странная была тень, с голубыми лунными пятнами сверху и по бокам, со скользящей походкой...

Невпрус знал, что теперь, если долго-долго лежать без сна, можно будет еще различить шаги в коридоре. Но он уже знал и то, что вскакивать бесполезно, потому что прежде, чем он распахнет дверь в коридор, шаги ускользнут, смолкнут, а светящийся силуэт... Впрочем, останутся мокрые снежные следы на полу в коридоре – их можно сразу отличить от других мокрых следов в коридоре, потому что эти загадочные следы совершенно не пахнут мочой. Впрочем, признак этот был не всегда надежен: вся эта маленькая горнолыжная гостиница навсегда провоняла мочой. Она была построена недавно, из каких-то вполне современных панелей, со всеми удобствами, но суровое плато и его обитатели, непривычные к этим удобствам, почувствовали себя свободно только тогда, когда вывели из строя все, что делало эту гостиницу такой чуждой их обычаям, – и радиаторы отопления, и бачки в туалетах... В конце концов, и в переиначенной на кишлачный лад гостинице жить было можно, да, можно, только вот туалеты, конечно... ну а что, собственно, туалеты? Кто нам скажет сегодня, где мочились, например, благородные мушкетеры короля, обсуждая план спасения королевы? Или сам граф Рошфор? Или герцог, извините нас, Бэкингемский? Да тут же, в комнате, у стены, в элегантном алькове, у себя в кабинете, даже в приемной, отойдут к стенке – и отольтют. И только эта лиса, Ришелье, негодяй и чистюля, с регулярностью писал в камин, присыпая свою мочу золой, ну и что с того? Кем вот вы хотели бы стать – негодяем Ришелье, скажем, или нежным любовником Арамисом? То-то. И все так, а потому закроем ненужную и неважную тему. Туалеты будут у нас такими же еще, наверное, столетие, да и Бог с ними, но вот беседы, куда подевались застольные беседы? Верните нам чахоточного Белинского, верните нам трепача М. Бакунина, мы обсудим с ними вопрос о существовании Бога...

Вы подумали, что это автор взывает к прошлому, тоскуя? Нет, это кручинится наш герой, один из героев повести, причем герой вовсе не положительный и не первостепенный – Невпрус (что за странное имя, однако, может быть, это вовсе не имя, а кличка?).

Вконец растревоженный, с замирающим сердцем Невпрус возвращался к себе в постель и пытался уснуть, накрыв одеялом голову и отгоняя непрощенный страх. Он объяснял самому себе, что для страха не может существовать никакой внешней, объективной причины, потому что здесь в горах нет ни хулиганов, ни разбойников, ни городского жулья. Страх же его рожден, скорей всего, сердечным недомоганием. Конечно, это само по себе не так уж весело, однако если спокойным логическим рассуждением изгнать страх, то и сердце успокоится, а в здоровом теле, как известно, и дух, и духи, и так далее. Здоровье Невпруса и впрямь укреплялось понемногу на горном склоне, да и душевный упадок, к которому приводила его городская жизнь, как будто отступал, однако ночные странности продолжали его мучить: и шаги, и тень, и вздохи, и шорохи, и странное свечение какого-то предмета, похожего на человеческую руку, прижатую снаружи к его оконному стеклу, и мокрые следы на полу в коридоре... Однажды Невпрус обнаружил эти мокрые (и непахнущие) следы даже у себя в комнате. Заметно было также, что кто-то трогал его книги, кипятильник и пишущую машинку (три литеры, сцепившись, застыли в воздухе, отчего клавиши так и остались вдавленными – робкий нажим дилетанта, не желающего к тому же производить шум)... Невпрус осторожно, успокаивая шум сердца, оглядывал убогую гостиничную комнату и уговаривал себя, что к нему мог заглянуть украдкой кто-нибудь из сторожей (только что притопал из кишлака по первопутку, так что запах мочи еще не успел пристать к талым следам). В конце концов, что это может быть? Призраков, как известно, не существует. Похоже, что сам Жуковский в них не верил. И вообще, разве современный человек может бояться призраков? Он боится бандитов, хамов, милиции, боится уличных хулиганов и наружного наблюдения, боится мнимых и реальных своих преступлений перед государством и правом, боится собственных страхов, боится болезней – но призраков... И все же – что это за следы уходили вверх от самой верхней станции канатки? Куда там было идти? И кому? И зачем? И еще – эти проклятые двери: в целой гостиничке не осталось ни одного запора: потяни за ручку, входи...

Дневная усталость и воздух заоблачного высокогорья в конце концов брали свое: Невпрус, намаявшись, засыпал и спал крепко. Вот если б еще ложиться попозже, все было б славно, но вечер ему было нечем занять. Книга про 1812-й подошла к концу, и теперь Невпрус еще дольше просиживал у сторожей за чаем. Присутствие этих людей хоть в плохоньком, а все же горнолыжном отеле волновало его безмерно. Двадцать минут пешего подъема (или спуска) отделяло их от своего кишлака, но они были здесь посланцы, лазутчики иного, медленно-недвижного, традиционного мира. «А может, все не так? – задумывался иногда Невпрус. – Может, мир и вообще остается единым и одинаковым? Может, различия эти только внешние? Или вообще иллюзорные...»

Сторожа были моложе Невпруса, но каждый из них успел завести шесть или восемь детей. Жен им выбирали родители – незнакомых, из другого селения (где была девица на выданье, там и брали), без всяких там несущественных смотрин и предварительных знакомств: приезжала делегация, обговаривала размеры выкупа, стоимость свадьбы и подарков. Сторожа соблюдали мусульманские традиции, не пили вина, а двое из них даже совершали пятикратно намаз. Особенно сильное впечатление на Невпруса произвело сообщение о том, что поголовно все мужчины республики – от первого секретаря до последнего пастуха – были обрезаны. «Поголовно! – изумленно повторял Невпрус. – Все поголовно! По самую головку!»

В комнате сторожей пахло стегаными халатами, кислым молоком, кизяком, зеленым чаем, насваем и лепешками. А в гостинице жили городские спортсмены, школьники и прочие русские люди, которые придерживались новых городских законов (а может, и вовсе не имели законов), так что неудивительны были и беспорядок, царящий в их семейной жизни, и болезни

их, и несчастья, и странные их, немислимые в этих местах отношения с собственными детьми. Городские соблазны все ближе подступали к кишлаку, и как знамение и угроза объявилась уже кишлачная девушка, которая первой уехала на учебу в городской пединститут. Гостиничный завхоз, молодой парень в американском тренировочном костюме, сказал Невпрусу:

– Мой сестренка отличница, тоже пединститут хочет, понял? Я, старший брат, что делать должен? Я такой хитрость делал. Я ему говорил, сестренка: школа все пятерки будет, поедешь институт. Сам тихонько директор школа ходил, плов делал, так говорил: два четверка ему делай, платить буду.

Все качали головой, удивляясь такой братской заботе и такой хитрости, и Невпрус тоже качал головой со всеми. Сперва он подумал, что в этом, может, и нет ничего страшного, если они все будут ездить в пединститут, здешние сестренки, но, поразмыслив, он приходил к выводу, что все не так просто в чужой жизни. В пединституте девушка и впрямь ничего полезного для здешней жизни узнать не может, зато она узнает вкус городской свободы и наслушается всяких глупостей про любовь. Того чище – вернется с брюхом, окончательно себя уронив в глазах односельчан. Впрочем, и без брюха ей нелегко будет принять с готовностью и безропотно слепой родительский выбор, а потом быть хорошей женой не ею самой выбранному супругу. Так зачем тогда эти эксперименты? Пусть городские люди ставят их на своих собственных детях. А тогда прав гостиничный завхоз, молодой парень, повидавший и русскую и заграничную городскую жизнь и знавший ей цену. За границей он, как и все здешние парни, был, конечно, в ГДР, где проходил срочную службу. Ну сам-то этот огрызок Германии ему повидать не удавалось, потому что служба за границей очень строгая и с иностранными подданными, которые все как есть немцы, общаться нельзя (даже ихнее пиво пить запрещается), но все-таки каждый солдат привозит домой обширные знания о мире. Самое большое впечатление на Невпруса производили их рассказы про «дедов» – старослужащих и прочих «старичков». Сажая новичка-«зеленку» на пирамиду из табуреток, они заставляли его вслух читать напечатанный в газете приказ об их «дедовском» дембеле. В какой-то роковой момент (еще и не дослушав до конца приказ) они вышибали из-под зеленого чтеца (который мог оказаться не только «зеленка», но и «фазан», и «плафон», и «чижик») нижнюю табуретку. Падая, он калечился, впрочем, далеко не всегда. Горше ему доставалось тогда, когда, вознамерившись отсчитать месяцы истекшего срока, его привязывали к койке и били пряжками ремней по задку. Однако и тогда ему оставалась надежда: он видел, что «деда» тоже кладут на койку, но бьют уже не ремнем, а ниткой, и притом не по голому задку, а через гору подушек. Это было утешительно, потому что каждый «чижик» имел надежду стать со временем «дедом». Время приносило освобождение! И вот теперь, вспоминая эти славные обычаи, каждый мог по заслугам оценить преимущества воли и, приняв в ладони пиалу зеленого чая, возблагодарить Аллаха за то, что все кончилось, что ты дома, что Он сберег тебя, а потом еще послал тебе жену и детей и они подают тебе вечером чай и пекут лепешки в тандыре...

Перед сном Невпрус обычно выходил на улицу подышать. Днем снег вокруг гостиницы таял, обнажалась глина, полнились лужи; ночью подмораживало, и наледи блестели, как замерзшие плевки или сопли, и если б только можно было предположить, что здешние люди насморкали вокруг так много, то во всем этом блистающем лунном пейзаже нельзя было бы найти никакой красоты. Однако Невпрус точно знал, что все это от снега и солнца, и он с благодарностью любовался природой.

Он глядел на лунные снега, на прозелень ледника вдали и думал о том, что скоро и ему тоже придется, оставив тепло комнат и чаепитий, уйти туда, где лед, и холод, и одиночество, уйти насовсем, навсегда. От этой мысли ему становилось зябко и неудобно, однако не слишком страшно, потому что, может быть, это с ним случится без боли и при этом условии он примирится уж как-нибудь с новым своим положением, как примирился некогда с тем, что ушла юность, а теперь вот ушли и зрелые годы...

Снова и снова случалось, что Невпрус все же не выдерживал своего вечернего одиночества и, смирив гордость, забредал на огонек в вагончик к химикам, а чаще – к энергетикам. Там по-прежнему играли в карты, изредка оглядываясь на телевизор, по-прежнему рассказывающий про миролюбивый ливийский народ, которому хотят помешать. Иногда сообщалось также о радостных достижениях северокорейского и вьетнамского народов, которые тоже строили. Последнее сообщение вызвало взрыв эмоций в вагончике энергетиков, потому что одна женщина-энергетик побывала в народном Вьетнаме и даже присутствовала там на каком-то собрании вьетнамской общественности, где ей довелось видеть самого Фам Вам Дома. Впрочем, может, это был не Фам Вам Дом, а другой видный представитель, точнее она не могла вспомнить, но она запомнила, что это была очень знаменательная минута в жизни народов.

Один раз Невпрус застал в вагончике альпинистов, которые рассказали про альпинистские сборы, где они видели то ли самого Абалакова, то ли его дочку. Невпрус обычно не участвовал в этих разговорах, потому что он ничего не мог добавить, а всякие его глупости, вроде Федора Достоевского и Франсуаза Саган (не говоря уж про Кожина и Палиевского), никому не были интересны. Даже если в вагончике заходил когда-нибудь разговор про книжку, то редко кто мог вспомнить толком ее название и, уж конечно, никто и никогда не мог вспомнить, как зовут ее автора. Из этого Невпрус заключал, что всякому литературному занятию должен скоро прийти конец на земле и вовсе не удивительно, что люди умные давно уже не интересуются тем, как и что написано кем-то, а просто стараются извлечь из этого пережитка человеческой деятельности все возможные выгоды. Особенно наглядно эти достижения прогресса были заметны в детях, которые были изрядно знакомы с телевизионным вещанием, но книг не имели и не читали вообще никогда. Родители их, понимая насущные требования современности, впадали в ужасное беспокойство, когда в вагончиках по каким-нибудь горнотехническим причинам вдруг пропадала телевизионная видимость. Они правильно судили, что дети их тем самым не только теряют главную радость жизни и развлечение, но также и упускают какие-то важные воспитательные моменты (особенно если в программе, к примеру, предвиделся многосерийный немецкий телефильм про войну на Кавказе или, скажем, про басмачей). В многосерийных фильмах показан был всегда остросюжетный захватывающий момент исторической жизни. И хотя можно было наперед догадаться, что наша разведка всегда перехитрит американскую или немецкую (хотя бы и в фильме производства ГДР) и что даже советский человек, пошедший на подлое сотрудничество с врагом, окажется в конце концов нашим агентом, несмотря на это, каждая новая серия заставляла зрителей с волнением ждать следующей (забывчивый Невпрус напрасно напрягал память, чтобы запомнить, когда будет следующая серия, чтоб и на нее не угодить).

Изредка за столом возникали краткие дискуссии о том, какие мы, русские, дураки, потому что всему миру всегда помогаем и все свое отдаем и от этого своим ничего не хватает. В такие споры Невпрус тоже не ввязывался. Во-первых, из-за плохого знания, кто кому что отдает и что получает, а во-вторых, из-за своей не вполне русской фамилии (возможно, это даже было имя или сокращенная кличка сама по себе не вполне понятного национального обличья, в развернутом виде означавшая попросту Не Вполне Русский). Из-за этой фамилии его неоднократно принимали то за латыша, то за литовца, но он не ужился ни в одном из этих качеств, потому что ему не хватило интереса к прибалтийским национальным проблемам и, как он ни бился, он вовсе не смог вызвать в себе антирусского энтузиазма. Впрочем, и в жалобах на русское самоотречение в пользу мнимых друзей Невпрус не нашел приятных для общества аргументов, а на прямой вопрос одной интеллигентной женщины об американцах и вовсе не нашелся чего ответить, хотя она спросила у него очень простую вещь.

– И за что они нас, – спросила она с чувством, – эти американцы, так ненавидят? Пове- рите, маленьким детям отравленную жвачку подбрасывают!

Невпрус не мог отрицать, что жвачка была американским изобретением, к которому он сам относился скорее с отвращением, чем с энтузиазмом, однако во всем, что касается подбрасывания, он оплошал и только развел руками. После этого к нему с вопросами больше никто не обращался, потому что он сам как бы признался в собственной неосведомленности и неинтеллигентности.

В субботу горное плато вокруг гостинички и канатной дороги снова заполнилось городскими людьми, служебными автобусами и частными автомобилями. В комнату напротив Невпруса въехало обширное семейство во главе с могучим краснолицым мужчиной, который вынес из машины тяжелый цветной телевизор. Семейство щебетало в коридоре и на кухне, мужчина же сразу улегся на полу перед телевизором и стал смотреть мультфильм.

Невпрус понял, что ему самое время сбежать с лыжами в горы. Поднявшись до последней опоры канатной дороги, он остановился на солнышке передохнуть. Отогреваясь, он с ужасом вспомнил зимнюю городскую улицу, каменную и бессолнечную. Прожив на ней зиму, городской человек убегает, чтоб отогреться, на южные пляжи, на солнечные горные склоны. На улице Невпрус сразу мог узнать человека, который давно не бывал на солнце: человек этот похож на червя. Солнце не просто согревает кровь и кожу, оно очищает нутро человека от лишней желчи, его голову – от скопления мелких и ненужных мыслей. Человек, разогретый солнцем, не думает ни о чем...

Сверху Невпрусу были видны вторая и третья гряды гор, между которыми уже поднимались черные, серые и сизые облака, творилась погода или судьба. Где-то там, далеко внизу, пригнулись крыши самых гордых городских небоскребов, высокие инстанции, рубиновые звезды Кремля, президент Рейган, Алла Пугачева, Майкл Джексон и Останкинская башня московского телевидения. Не только их передвижения по земной коре, но и самые объемы их были неразличимы с этой снежной сверкающей высоты, не говоря уже о ячеистых кабинетах начальства или, скажем, отрывном блокноте на столе заведомо журнала «Жизнь» Феликса Львовича Кремнева-Птицына с записью ста шестидесяти двух неотложных звонков и дел...

От опоры канатки лихо съехал тренер республиканской спортшколы. С ходу притормозив, он взметнул струйку снега и поинтересовался, что за марка лыж и креплений у Невпруса. Потом сказал задумчиво:

– Тоже хотел в Москву перевестись. На станцию Катуар. Школа олимпийского резерва. Вход по пропускам, никого лишнего. Питание по спецнорме и спецбуфет. Все новейшее оборудование. Электронное. Не выходит, мать их...

Подкатил мальчик на лыжах. С подозрительностью оглядев неспортивную фигуру Невпруса, спросил:

– А ты чей? Пропуск имеешь на канатку?

Канатка была ведомственная. Но Невпрус ответил с сонным достоинством:

– Я чечмек.

– А-а, – сказал мальчик и лихо покатил вниз, вслед за своим тренером. Ответ Невпруса его, наверное, удовлетворил: с чечмека и спрос другой.

На вершине один за другим стали появляться ученики спортшколы, а также тренеры. У них были однообразные, мужественные и, пожалуй, даже симпатичные лица, черты которых были, впрочем, как бы несколько стерты и лишены индивидуальности. Вероятно, виной тому являлись усиленные занятия спортом. Впрочем, горные лыжи – это ведь особый спорт. Человек не карабкается в гору, а только съезжает, элегантно балансируя. Яркие лыжи вкупе с яркими, всегда заграничными, костюмами усиливают это впечатление элегантности, а яркое солнце и сверкающий снег создают атмосферу элитарного праздника. «И при всем том, – подумал Невпрус, – что-то мне не хочется сегодня съезжать с горы. Стар я уже для спорта и ленив. Поезд ушел. Спустишься, а потом надо снова подниматься. Лучше уж так постоять...»

Канатка остановилась. Она была старенькая и часто выходила из строя. Как всякое строительство в этих краях, сооружение ее обошлось вдесятеро против потребного, потому что каждый год перед началом стройки подчистую разворовывали стройматериалы. Потом канатка все же закрутилась, задвигалась. Говорили, что внук Пидулова увлекся горными лыжами. Кто такой Пидулов, Невпрусу было неизвестно, но уж кто-нибудь он, наверное, был такой, раз с пол-оборота закрутил канатку.

Канатка встала – значит, спуститься можно было только один раз. Что ж, хватит и одного. Невпрус скользнул вниз. Не разгоняясь и делая повороты с большой осторожностью, он скидывал скорость: ноги у него были не казенные и к тому же не молодые.

Завершив какой-нибудь отрезок спуска, Невпрус подолгу стоял на солнечном склоне, любуясь пейзажем или просто отдыхая. Чувствуя, что он все еще на ногах. И притом на лыжах. На горном склоне. Думая о тех, кого уже нет. Ни на склоне, ни на поверхности. Большинство друзей Невпруса были уже Там. Там, куда идем мы все. Или же Там, в рассеянии, куда мы не захотели уйти. И те и другие были уже не с нами, но те, кто предпочли горький хлеб изгнания (надеясь втайне, что он все-таки будет сладок), были поначалу все же реальнее и живее тех, кто переселился в совсем иной или, как еще говорят, лучший мир. Они, эти изгнанники, испытывая неизбывный, неугасающий интерес ко всему, что происходит здесь, на оставленной ими родине, они как бы посылали сюда весьма ощутимые токи, которые не могли не учитывать и не чувствовать их оставленные, предоставленные превратностям своей судьбы соотечественники. Однако с годами токи эти становились все слабее, неразличимее, они тонули в реве глушилок и магнитных бурях, в ограждении границ, бетонных стен и зданий, и мало-помалу те, кто были в рассеянии, сравнились для нас с теми, кто ушел насовсем, навсегда и кто (будем надеяться) ждет нас там, всех нас – и здешних, инертных, рассеянных, и тамошних. О Боже, как мы будем спорить при встрече о том, кому в этой жизни пришлось горше, кого острее и клевал жареный петух. Как трудно нам будет договориться!

...Внизу, в гостиничке, уже кипела предобеденная суeta, стучали по коридору тяжелые ботинки, перекликались голоса, и надо всем гамом лился из двух мощных динамиков сладостный стон то ли иранской, то ли индийской певицы. Невпрус похлебал столовской баланды и уединился в своей комнате. Он хотел снова подумать о своей судьбе или о героях 1812 года, которые все как один были и красавцы, и таланты, и поэты, да еще и аристократы в придачу. Подумать об их отшумевшей жизни, об их злополучной судьбе. Однако телевизор, установленный в соседней комнате на полу, не давал ему ни о чем думать. Телевизор непонятно хрюкал и вскрикивал; дети, отчего-то изгнанные из комнаты, гомонили в коридоре. Невпрус вынес на улицу стул и устроился на солнышке. Он согревался, он таял, он набирался тепла впрок. Остылость была похожа на смерть, а может, она и была смертью. Впрочем, греясь на солнышке, он сейчас словно бы растворялся в его лучах, переставал существовать. Это был сладостный конец, истинная нирвана...

Над головой снова грянула иранская музыка, сладкая, как шербет, – радист отрабатывал свое скромное жалованье: сегодня все начальство было в сборе и радист, как Лев Толстой, просто не мог молчать. Прошел очень степенный, еще молодой и красивый человек в черном костюме, белоснежной сорочке и галстукe. Рядом с ним была русская жена с огромной, воистину необъятной грудью. Человек этот был, наверное, Пидулов. А может, это был Бидоев, сменивший Пидулова. Невпрус помнил только две начальственные фамилии. Вероятно, это и были самые славные имена в горном крае. Иранская певица перешла на интимный шепот: может, она тоже узнала Пидулова. Или она знала, что это Бидоев. Невпрус подумал о том, что станет с грудью пидуловской (или она бидоевская?) жены, если ее освободить от тесного покрова тканей, осядет она, растечется по дереву или сохранит какую ни на есть округлую форму...

Сторожа позвали Невпруса пить чай. Они обсуждали кишлачную свадьбу. Говорили о том, какой калым пришлось уплатить жениховой родне. Платить калым было, по всей види-

мости, занятие пустое и обременительное. Однако здесь это было принято, таков обычай. Степенно держа пиалу на ладони, Невпрус думал о силе и пользе обычая. Обычай объединяет жителей кишлака, обороняет их от нашествия чужих нравов, от вторжения чужой беды. У них здесь были свои, привычные беды, а на те, что случались за границей их круга, они с ужасом смотрели по телевизору. Здешним жителям не грозили пока ни рост преступности, ни наркотики, ни сыновняя непочтительность, ни разврат дочерей. Самую возможность считать себя достойным, счастливым или удачливым человеком давала та же самая замкнутость их круга. В этом кругу каждый человек получал и подтверждение своего достоинства. Выпав за границу круга, человек терял и правила, и достоинство, и надежду на уважение. Он падал в неведомую пустоту, где нарушены были законы тяготения, и в нее проваливался. Он долго и отчаянно махал руками в пустоте, пока ему не удавалось очертить для себя новый круг (в виде семьи, религиозной общины или еще чего-нибудь в этом роде), но к этому времени он уже твердо знал, как опасно соблазняться чужой вольностью, и чужим богатством, и чужой красотой. Так вот, наверное, и возникали на ошалелой нью-йоркской улице полудикие хасидские общины. Так продолжал жить рядом с какой-никакой, а все же горнолыжной гостиничкой неизменный кишлак Ходжа-дорак. Так сосуществовал с Генри Миллером и Артуром Миллером, с Сэлинджером, Апдайком или Филипом Ротом неизменный ребе Хаим Поток с его дошивости иешивотными романами.

Невпрус вспомнил историю про девочку, которая ушла учиться в пединститут, и понял вдруг, что это был бунт, настоящее восстание, что это была драма, старомодная история, истинное ретропредставление в стиле Байрона. Ведь девочке этой было, наверное, очень страшно, и обтрепанный ее папа, больничный сторож из кишлака, представал перед ее глазами как фигура весьма грозная, как зловещий тиран (Отец, отец, оставь угрозы... Самовластительный злодей...). Выразив гуманное сочувствие бедной кишлачной повстанке, Невпрус должен был все же признать со старческим вздохом, что прав был, наверное, обтрепанный папа, а не юная кишлачная суфражистка, которая в своей борьбе за женскую вольность наверняка оправдала где-нибудь в убогом городском общежитии самые страшные папины опасения.

В благодарность за чай и сочувствие Невпрус поведал сторожам печальную историю своего первого брака, за что был вознагражден сочувственным возгласом «Молодец!». Возглас этот он объяснял исключительно скудостью словарного запаса своих собеседников. Вот уж кем он не был ни в первом, ни во втором своем браке, так это молодцом...

На улице, за окном, вдруг что-то случилось, и Невпрус не сразу смог понять, что там произошло, что переменялось. Переменялась музыка. Вместо сладкой восточной певички вдруг закричал по-русски хриплый голос человека из ресторана. Голос был лихой, свой в доску, почти Высоцкий, но не Высоцкий, а кто-то рангом пониже и голосом пониже – то ли это был Северный, то ли Розенцвейг. «Вот, пожалуйста, Розенцвейг, – закручинился Невпрус. – Ведь с такой фамилией ни в одно приличное учреждение не берут, а он хоть бы что, поет себе где-то в ресторане, и вот уже сто тысяч пленок разносят его голос по родимой стране, да еще и такое поет человек, что ни один худсовет этого бы не выдержал, а на хрена ему худсовет? Эти пленки играют таксисты, и горнолыжники, и храбрые офицеры, пережившие ночной страх Кабула, все секут, принимают его юмор, и никому поперек горла не встало, что он – Розенцвейг, вот, бывает же такая судьба...»

Все эти горькие, хотя отчасти также и приятные размышления Невпруса были прерваны вдруг весьма естественным и все же весьма удручающим его в гостиничных условиях позывом, с удовлетворением которого нельзя было более тянуть. Дело в том, что и горцы, и юные спортсмены с трудом привыкали к европейскому, пусть даже полуевропейскому туалету, а потому отхожее место в гостиничке было всегда тягостно изгажено и густо усеяно клочками маркой и замаранной «Ходжадорацкой правды». Вследствие этого всякий визит, продиктованный регулярной потребностью натуры или ускоренный подозрительным качеством столовской

пищи, превращался для Невпруса в хотя и смехотворное по своей незначительности, а все же весьма серьезное испытание. В преодолении этой трудности могли помочь только непритворное мужество и полнейшая настроенность на внутреннюю духовную жизнь. Так, сидя в туалете и стараясь глядеть только вверх, Невпрус скорбно думал о том, что человек, от рождения до смерти читающий «Ходжадорацкую правду», в сущности, очень надежно защищен от всей несущественной информации и пресловутого миллиона терзаний. Человек этот не приспособлен, конечно, для интеллигентного общения, зато он и не впускает все эти глупости слишком глубоко в свою жизнь, в отличие от какого-нибудь европейца, занятого Бог знает какими заботами. «Ходжадорацкая правда» дает ему твердые ориентиры во всех малодоступных и не слишком существенных для него областях жизни, так что даже если у него и возникнет какой-нибудь (для здешнего населения вовсе не типичный) скепсис по отношению к этому правдивому (что из самого названия газеты видно) и принципиальному органу печати, то выхода у него все равно никакого не будет, потому что все свои знания, оценки и термины он получил именно отсюда, а других ему не было дано. Разве уж случится, что в каком-нибудь нервном остервенении он начнет налево и направо подставлять частицу отрицания (через черточку или слитно?) к вызвавшим его сомнение эпитетам. Скажем, «не-трудолюбивый», «не-миролюбивый» и «не-талантливый», «не-бескорыстная не-помощь», «не-мирные не-намерения», «не-единодушное не-одобрение», «невсеобщая не-поддержка», «не-партийная не-принципиальность» или даже «не-беззаветная не-преданность». Но во-первых, такая перемена знаков мало что может дать. А во-вторых, что-либо в этом роде (особенно здесь, на Востоке) может прийти в голову только пациенту психдиспансера, да никто другой и не сможет позволить себе подобной роскоши (Невпрус позволял, но, во-первых, только мысленно, а во-вторых, находясь в уголке весьма укромном, хотя и сильно загаженном). Поздним вечером, готовясь уже отойти ко сну, Невпрус услышал под окном странный разговор.

– Голова должна пролететь через комнату очень быстро, – сказал молодой голос. – Веревки есть?

– Немножко есть, немножко нет. Студия можно ехать... – ответил голос постарше и поглубже.

Отвергнув с полдюжины криминальных и мистических гипотез, Невпрус в конце концов успокоил себя открытием, что речь могла идти о киносъёмках. Голову будут отсекать, наверно, классовому врагу, скорей всего басмачу. Не станет же голова комиссара летать по комнате. Когда все встало на свои места, Невпрус уснул.

Проснулся он от каких-то возбужденно-фальшивых вскриков и стонов. Сперва он подумал, что в комнате напротив происходит оргия или драка. Потом он усомнился в своей гипотезе. Женщина стонала слишком громко и театрально. К тому же, несмотря на бурное течение сексуальной революции, групповой секс как-то не приживался в этих местах: сказывались традиционный мусульманский «мачизм» и «фаллоκραтия».

Невпрус догадался наконец, что стонет цветной телевизор. Было уже два часа ночи. Впрочем, столичная Москва еще могла передавать какие-нибудь лагерно-антифашистские или военно-приключенческие ужасы.

Невпрус нащупал кеды и зашлепал по лужам в туалет. Какие-то мужчины потрясенно курили в коридоре. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, телевизор стонал в неприкрытой и фальшивой истоме.

– Дверь бы закрыли, братцы, – сказал Невпрус миролюбиво. – Он у вас сейчас кончит, ваш телек.

Невпрус был удивлен готовностью, с которой курильщики бросились закрывать дверь. «Интеллигентные люди, – думал Невпрус у себя в постели. – Наши простые интеллигентные люди. Такие простые, такие восточные и такие интеллигентные. Другие бы морду начистили за такой совет. Или затеяли свару...»

Вторично Невпрус был пробужден под утро. Визжали и вздрагивали трубы центрального отопления. Никакой мистики в этом, конечно, не было. Невпрус уже знал, что персонал год за годом разбирает помаленьку гостиничную сантехнику для своих кишлочно-бытовых нужд. Невпрусу даже приходилось однажды подписывать вместе со всеми акт на списание всех этих как бы негодных казенных труб. Так что сейчас, снисходительно улыбаясь во мраке, он с терпеливостью дождался конца работ, потом поднялся с постели и заткнул лыжной рукавицей черный проем, зиявший теперь в стене на месте трубы отопления. Само отопление давно уже не работало в гостинице, может быть, оно не работало никогда. Комнаты обогревались железными прутами, которые добела раскаляло электричество. Обугленные провода и вырванные розетки внушали некоторую тревогу, но пока еще Аллах миловал, и в комнатах было тепло. Только кислороду чутки не хватало, но всех удобств совместить нельзя. Можно было встать и пойти подышать среди ночи, а потом снова на боковую. Привычно потеряв ноющую левую руку, Невпрус сунул ноги в лыжные ботинки и, громыхая, пошел к выходу.

Лунный свет торжественно стекал со снежного склона. Ледяная красота и завораживала и отпугивала. Страшно было подумать, что живые существа или даже их души могут оказаться в этом ледящем раю, вдали от жилья и тепла. Холод, одиночество – кто и что сможет там выжить? В прогретом муравейнике гостиницы, в червивом яблоке города копошится живая жизнь, отогреваются или сами собой зарождаются мысли и страсти, похотливо болбочит телевизор, начинаются и рождаются дети, расцветают болезни – но здесь, на леднике...

Невпрус обмер. Тень у стены светилась по краям голубовато, прозрачно. Странно. Очень странно. Тень напоминала человеческую фигуру, а свечение начиналось там, где кончались рукава одежды и воротник. «Рука на стекле, – вспомнил вдруг Невпрус и стал уговаривать себя, что страшиться совершенно нечего. – Какое-то научное явление, – внушал он себе, – или ненаучное. Просто человек. Главное, что явление». В слове «явление» он находил успокоение научности. Явление исключало мистику и всяческую чертовщину.

С другой стороны...

Одумавшись, Невпрус упрекнул себя в недоверии ко всемогуществу Божию. Ну, а если тебе явится ангел Божий или Пресвятая Богородица, ты что, вот так же будешь дрожать? Или будешь искать термин из школьной физики? Общение с небом не останется вечно односторонним, и человек должен быть готов к знамениям, и посланцам, и знакам.

Несколько подбодренный этими соображениями, Невпрус на шаг приблизился к светящейся тени, которую он вознамерился было назвать светотенью, но вдруг вспомнил, что прекрасное слово это уже опошлено искусствоведами.

– Добрый вечер, – сказал он учтиво, не находя другого приветствия, которое лучше подошло бы к столь глухому предутреннему часу.

Человек, стоявший в тени и при этом казавшийся тенью, сделал шаг от стены, из тени, и учтиво поклонился Невпрусу, сразу рассеяв его опасения.

– Рад вас приветствовать, благородный горножитель, – сказал молодой человек. Лицо его больше не голубело теперь, но все же отливало какой-то светящейся лунной бледностью, хотя и природная смуглость заметна была тоже. – Вы первый из здешних жителей, с которым мне довелось вступить в прямое общение. Вообще не припомню уже, когда я в последний раз...

– Вы здесь давно? – осведомился Невпрус, стараясь, чтоб голос его звучал вполне светски.

– Незапамятно... – Молодой человек протянул руку, и кисть ее замерла во мраке. – Чаше всего вон там. – Он показывал куда-то вдаль, на блистающий зеленым стеклом ледник, и Невпрусу стало не по себе. – Необъяснимо, – продолжал молодой человек, – что вы заговорили со мной первым, опережая мое давнее желание. У здешних горножителей так многообразны возможности совместного времяпрепровождения... Говоря проще, общение доступно им всегда.

– Однако у меня не так, – посетовал Невпрус. – Впрочем, может, вы знали об этом?

– Да, вполне вероятно, что я ощущал это, ибо темное ваше окно обладало особенным притяжением. Однако разве все эти люди, окружавшие вас и понимавшие вашу речь, – разве они не могли стать вашими собеседниками? Или вследствие каких-то тайных причин вы даже не пытались беседовать с ними?

– С ними? О чем говорить с ними? – Невпрус махнул рукой безнадежно. – Мне хотелось говорить о будущем и о Боге. А также о грустном занятии литературой. И то, и другое, и третье было им скучно. К тому же я и не мог быть для них толковым собеседником. Я не узнавал лица, возникающие на экране телевизора, не помнил предыдущие двенадцать мгновений весны и не мог отличить команду группы «А» от военной команды или воинского подразделения... Да, мне действительно хотелось найти собеседника, которому физиологическая неприязнь к иному цвету лица, к иной речи, к иным примесям крови не преграждала бы путь к общению, который был бы менее заангажирован, менее загружен хламом ничего не стоящих сведений и отходами чужих политических игр, более межмирен, что ли...

– Я не все понял, – сказал молодой человек. – Но я понял, что встреча наша произошла неслучайно. По всей вероятности, я был привлечен, притянут вашей тоской. А может, это судьбоначеренное совпадение. Ведь уже третий год я спускаюсь от ледника то сюда, то к селению, я смотрю на огни, вижу, как люди вкушают вечернюю трапезу, как их руки ласкают детей, как потом они укладываются на покой. Или позднее – как они выходят во двор, сонно зевая, и, повернувшись спиной к лунному свету, серебристую выпускают струю...

– Жениться бы вам пора, – сказал вдруг Невпрус сочувственно. – А где вы раньше-то были?

– Где-то там, на Кавказе. – Молодой человек небрежно махнул рукой за отдаленный хребет. – Служил... Впрочем, уже давно. Помнится, я был поручик лейб-гвардии корсарского полка имени Лейли Меджнун. Впрочем, с тех пор – столько разнообразных перемен и так много скитаний...

– И в то же время, – сказал Невпрус, – больше двадцати трех я вам бы не дал.

– Холод, – сказал горный человек. – Все проклятый холод. Все ледник, холодильник...

– Да уж. – Невпрус оглянулся на ледник, поежился и увидел, что он один.

Только сейчас он почувствовал, как сильно продрог, беседуя, и устремился в гостиницу. Только сбросив с ног лыжные ботинки и укутавшись в одеяло, Невпрус вспомнил, что только что разрешилась тайна всех этих странных ночных происшествий, его тревожащих. Впрочем, еще через некоторое время, припомнив свою беседу с незнакомцем, Невпрус осознал, что узнать ему, в сущности, удалось совсем немного. А может, и ничего. Напротив, этот таинственный юноша... главное, что Невпрус не уяснил себе сути этого ненаучного явления Ну, хорошо, лейб-гвардия, Бог с ней. Всем теперь хочется быть корнетами или корсарами, но вот, скажем, ледник. И потом – где мы, а где Кавказ... И как это, все время по горам? Все это время в горах?

Невпрус был пробужден хохотом и громкими разговорами на кухне, которые раскрыли для него еще одну тайну, впрочем, вполне ничтожную: он понял, что соседи его гоняли полноты порнофильмы по видеомагнитофону и собирали для просмотра (может, и не вполне бесплатно) чуть не всех обитателей тургостинички. Что ж, это было логично. Великое изобретение ширпотреба было поставлено на службу широкому непотребству...

* * *

В то утро работа его наконец двинулась с места. Он не только отчитался по командировке. Он даже написал две страницы сверх обещанного, просто так, для себя. И, написав, задумался о губительной привычке к труду, прокрававшейся к нам с полей умирающего Запада. Там, на этих полях, люди, не умеющие остановиться и не знающие удержу, не научившиеся иначе про-

водить свое время, как только в труде, в обильном производстве всяких материальных благ и в добывании денег, люди эти пришли к невылазному кризису перепроизводства. Молоко у них там лилось рекой, масло громоздилось в холодильных амбарах, а люди все не могли остановиться. Обилие продуктов и товаров грозило обесценить их труд; хитроумцы, стоящие у кормила власти, изобретали тысячи способов, чтобы отвлечь неистовых европейцев от губительного труда и зарабатывания лишних денег; их досрочно увольняли на пенсию в расцвете сил, обеспечивая их материально на весь остаток жизни; безработных развлекали лингвистикой или информатикой, пытаясь отвлечь от труда, и даже кормили их при этом задарма, но западный человек без работы хирел. Кроме того, он не мог примириться с тем, что уровень его благосостояния застынет на мертвой точке. «Процессы необратимы!» – восклицали социологи. «Работы и справедливой платы за труд!» – настаивали народные вожди. Иногда, одумавшись, все они с завистью глядели на восток, где население, расслабившись, не спешило к пределам обогащения. Все дальше и дальше на восток, где после бурной и бестолковой русской пляски вступала медлительная мелодия мусульманской Азии. Здесь людям никогда не грозило перепроизводство. Низкие заработки предохраняли их от переутомления...

Впрочем, и в этой многонациональной семье было не без уroda. Таким уродом считал себя Невпрус. Напрасно он сдерживал себя, укорял себя в абсурдности трудолюбия: гены его неполной русскости одерживали верх над благоразумием. В приступе добросовестности он терзал свою пишущую машинку, сочиняя ему одному на целом свете потребную прозу.

Он писал, а тем временем за его окном разыгрывалась эпопея киновойны с басмачами. Всем в этом краю было с детства известно, что басмачи, отчаянно сопротивлявшиеся установлению новой (и, по всем признакам, русской) власти, были наемники английского капитала. Так что, хотя многие из здешних жителей насчитывали среди сгинувших и уцелевших басмачей своих близки родственников, слухом не слышавших о существовании такой нации, как англичане, общая оценка движения не вызывала сомнений. Что же касается кинематографистов республики, то для них басмачи были такой же общепризнанной творческой находкой, как, скажем, индейцы для Голливуда.

В тот день на склонах Ходжи-дорака снимался очередной антибасмаческий фильм местной студии под рабочим (оно же было условным) названием «Бесславный конец Абдулаи-бека». Съёмочный день подходил к концу, и ожиревший актер, которому досталась ответственная роль бека, был почти так же измучен, как его дублер, который, хотя и не кончал актерского училища, умел почти без ущерба для своих костей падать с лошади.

По причине сверхплановой экономии пленки, съёмочная группа не могла в тот день позволить себе больше двух дублей, и вот именно на этом втором бесценном дубле и произошло недоразумение, свидетелем которого стал Невпрус. Он вышел из своего убежища, привлеченный необычным шумом. Когда актер, исполнявший роль комиссара Друнина, занес свою беспощадную саблю над головой бека (чей дублер предварительно упал с коня без сколько-нибудь серьезных повреждений), из рядов публики выскочил и с разительной скоростью преодолел расстояние, отделявшее его от площадки, какой-то странноватый юноша, напоминавший одновременно и пастуха, и дервиша, и учителя военной подготовки из Ходжадорацкой средней школы имени Абуали ибн Сино.

– Простите, милостивый государь, но это, поверьте мне, недопустимо, – сказал юноша, заслоняя своим телом вконец умученного артиста. – Здесь нарушены все правила дуэли и даже просто честного боя. Ваш противник, как видите, лежит. И он безоружен.

– Так это ж ставленник, – сказал комиссар Друнин несколько удивленно, но все же не выходя из роли. Он даже не сразу осознал, как далеко ушли они от режиссерского сценария.

– Ставленник или не ставленник, сударь, но вы ведете себя как человек непорядочный. И как таковому вам придется дать мне...

– Что там еще? – спохватился молодой режиссер Хапузов. – Да гоните вы его к е... матери. Эй, кто там? Кто пустил эту б... на площадку? Сколько раз я вам...

Увлеченный своей правотой, режиссер и не заметил, как странный военрук или дервиш, в один миг преодолев площадку, оказался возле него. Уже в следующее мгновение юноша с неожиданной силой пнул режиссера ногой под зад. Перелетев через ассистентов, мастер антибасмаческого жанра ткнулся головой в снег. Тут разом заорали все пьяные осветители, звукооператоры, ассистенты и прочая киноворня, и тогда Невпрус, до сих пор с интересом наблюдавший издали за развитием событий, понял, что ему самое время вмешаться.

– Это было блестяще, синьор, но нас ждут, – сказал он, отвесив поклон Горному человеку.

Киноворня расступилась, они вышли с площадки, завернули за угол гостинички, и здесь Невпрус сказал торопливо:

– А теперь надо смываться. Ясно?

Они юркнули в коридор, добежали до комнаты Невпруса, закрыли дверь и приперли ее койкой.

– Да, лихо, – сказал Невпрус. – Думаю, что он теперь не скоро очухается.

– Настоящий хам, – сказал Горный человек надменно. – Впрочем, я мог ведь и ошибиться... Все так сильно переменялось за то время, что я шел по горам.

– Ничего не переменялось, – успокоил его Невпрус. – Хам – он и есть хам. Все как раньше.

– Ну, нет, – сказал Горный человек, – многое в жизни людей переменялось. Например, появились неизвестные мне предметы.

– Это да, – согласился Невпрус. – Появились новые игрушки. Впрочем, чаще всего несущественные. Пишущая машинка была уже в прошлом веке, велосипед и лыжи – старье. Вот горнолыжные крепления есть новые, это правда. «Саломон», например, 777. Но разве это так уж важно?

– А вот мне не у кого было спросить, что это за синенький такой светильник? Он стоит у стены, а люди сидят напротив. По многу часов подряд. Вероятно, они молятся? Или они гадают о будущем? Лишь то я понял, что это очень важное занятие. Однако что представляет собой этот синий огонек...

– А вы как думаете?

– Ну, полагаю, что это алтарь какого-то нового бога. Здесь ведь и раньше жили оташпарасти, огнепоклонники, в этом самом горном крае...

– При чем тут край! – махнул рукой Невпрус. – Да сейчас весь мир горит этим голубым огоньком, по вечерам, иногда по утрам, а если учесть временные пояса, то практически круглые сутки – все континенты, острова, города, деревни. И только ваша оторванность от наших равнинных дел... У меня, впрочем, тоже... – сказал вдруг Невпрус гордо, – у меня, в моем доме – в каждом из моих временных домов, – у меня тоже никогда не было этого огонька. Он называется телевизор, или телик. Второе – название неофициальное и весьма ласковое, наподобие того, как бандит называет свой наган дружкой...

– Вы дали мне понять, что огонек этот опасен для человеческой жизни? – спросил Горный человек.

– Нет, не то чтобы опасен для жизни. Однако губителен, да, вполне губителен для души. Это довольно миниатюрный стеклянный квадрат, на поверхности которого сменяют друг друга движущиеся картины, говорящие люди, поющие люди...

– Но это же великолепно! Сколь удивительно это проникновение человека в тайну магии. Но кто эти люди, которые читают проповедь?

– Как правило, специальные артисты. Иногда служащие специальных учреждений, как правило, руководящие лица...

– Они рассказывают легенды и сказки?

– Нет, пожалуй. Они толкуют о каких-то производственных, чаще всего никому на свете (в том числе им самим) не интересных делах. Хвалят учреждения, которым они служат. Иногда товары, которые им надо продать.

– Эти люди известны своей правдивостью?

– Ну, вряд ли. Так, пожалуй, не думают и сами зрители. Нет, зрители стараются не думать об их правдивости. Телевидение, так же как и кино (Боже мой, вы даже, наверно, еще и с кино не знакомы, мой корсар!), вообще не вызывает никаких ассоциаций с реальностью. Это просто картинки и какие-то истории, весьма, надо сказать, примитивные.

– О чем они?

– Чаще всего о шпионах. Или бандитах. О сыщиках и милиции, другими словами, полиции... В нашей стране...

– В Российской империи?

– Да, если хотите. Так вот, у нас часто говорят также о последних двух войнах.

– Но люди, которые выступают, – их мнение интересно?

– Нет, нет, не в том дело! Чаще всего они вообще не имеют никакого мнения. Они читают что-то по бумажке, иногда учат чужой текст наизусть. Однако и у тех, кто пишет тексты, у них тоже нет мнения.

– У кого же есть мнение?

– Это загадка. В обиходе сейчас фраза: «Есть мнение». Но не известно, чье это мнение. Однако мнение это является обязательным. Ибо других мнений нет. А раз нет других, все разделяют именно это непонятно чье мнение. Присоединяются к этому мнению. А иногда просто запоминают, не думая, какую-нибудь фразу, слово. Чтоб вставить их при случае. Боюсь, что вы не поняли. То, что говорят или показывают на стеклянной поверхности, называемой экраном, оно и вообще может быть лишено всякого интереса и содержания. Однако весь мир смотрит неотрывно.

– Отчего же? Это что, обряд? Или это является обязанностью гражданина?

– Ни то, ни другое. Это привычка. Она помогает заполнить время, убить его. Это занятие, замена любому занятию. Кроме того, это развлечение, и что соблазнительно – самое пассивное из развлечений. Более пассивное, чем игра в карты, скажем, в подкидного дурака. Занятие это не требует даже минимальных усилий ума, воли. Поверни рычажок и смотри. Занятие это дает иллюзию участия в жизни, приобщенности к культуре. Оно поработает умственно, и тем оно тоже приятно большинству. Оно не требует от человека выбора. За тебя уже выбрали, что тебе смотреть, как тебе думать и как потом говорить об увиденном.

– Что ж тут соблазнительного?

– О нет, не говорите – в этом огромный соблазн освобождения от всех усилий. И к тому же максимум удобств. Телевиденье – одно из величайших удобств цивилизованных стран. Оно даже выше свободы. Если бы состоялись свободные выборы под двумя лозунгами – свобода или телевидение, то победило бы, конечно, телевидение.

– Значит, это все же скорей политика, чем магия?

– Нет, нет, – живо возразил Невпрус, – магия здесь все-таки присутствует, иначе этот голубой огонек не совершал бы столько чудес. Ну, например, он наделяет колдовской силой того, кто появляется на экране. Человек, попавший на экран телевизора хоть однажды, становится неизмеримо значительней того, чем он был раньше, и все только потому, что изображение это видят сразу миллионы людей. То есть он становится известен миллионам людей, а стало быть, знаменит. Это особенно важно, если его профессия требует известности. Он сразу становится знаменитым политиком, знаменитым писателем или знаменитым артистом, и вы без труда поймете, что это не то же самое, что просто политик, просто писатель... В странах более корыстных, чем наша, это приносит еще и богатство. Более того, человек отчего-то чув-

ствуется себя по-иному после такой демонстрации, даже если ему это и не принесло никакой утилитарной выгоды... Вы поняли, Гоч, что я имел в виду?

Горный человек откликнулся на эту аббревиатуру с такой же готовностью, с какой сам Невпрус примирился когда-то с новой кличкой, закрепляющей его национальную неполноценность:

– Кажется, я понял. Ведь так было и раньше – то же самое желание заявить о себе, выйти из ничтожества безвестности. Я помню, на Кавказе, у нас там был полковник в отставке, Мартынов Николай Соломонович... – Гоч покривился при этом воспоминании, точно от какого-то неудобства, потом продолжил: – Оно идет от страха смерти, это неукротимое желание распространить свое имя среди многолюдства, надежда оставить хотя бы внешний очерк лица, хоть слово. Эта надежда уцелеть, сохраниться...

Что ж, надо сказать, ваш Николай Соломонович преуспел в своем начинанье, мерзавцы вообще преуспевают и тем немало способствуют распространению безнравственности...

Невпрус взглянул на Гоча и увидел, что гость его совсем разомлел в тепле, распространяемом железным прутом-обогревателем, включенным в сеть. Глаза у него посоловели, утратили свой пронзительный ледниковой блеск.

«Он стосковался по теплу, – с жалостью подумал Невпрус и невольно поежился, вспомнив бутылочное сияние ледника под луной. – Он стосковался и по общению. Вообще – молодой парень, всегда один...»

– Жениться вам надо, – сказал Невпрус покровительственно. – Без этого трудно...

– А с этим? – Взгляд Гоча сверкнул надеждой.

– С этим... – Невпрус развел руками. – С этим – почти невозможно... Нет, нет, вы меня не слушайте, старого циника. Во-первых, я все-таки сказал «почти». А во-вторых, в браке бывают дети.

– Дети? – переспросил Гоч. – Да, конечно, и дети. С чего бы это? Но главное – конечно, тепло. Я видел: на ночь они уходят к себе. Потом гаснет свет. И людям там, наверно, тепло. Вместе.

– А одному как согреться... – задумчиво проговорил Невпрус.

– Что-то знакомое, – оживился Гоч.

– Вы должны знать, – сказал Невпрус. – Это Екклесиаст. Впрочем, вы, возможно, мусульманин? Или может, даже огнепоклонник? Так вот, друг мой, жениться вам здесь будет весьма непросто. Какой-никакой, а потребен выкуп. И тысячью рублей вам не обойтись. Тем более у вас ведь здесь никакой родни, так ведь? Где вы обитали в последнее время?

– И там. И там... – Рука Гоча рассеянно указывала то на один, то на другой ледник и хребет, а может, он отсылал собеседника еще дальше, за перевал.

– Вот если бы вам жениться на русской девушке. Если вы, конечно, не против русских женщин и девушек.

– Против? А почему? Чем отличаются русские женщины? И вообще русские? Разве не все нижние люди одинаковы?

– Может, и не вполне... – сказал задумчиво Невпрус. – Может быть. Хотя наши видовые и еще так называемые национальные различия обычно сильно преувеличивают.

– Они и впрямь существенны? – поинтересовался Гоч. – Скажем, русские женщины устроены по-другому? Или они по-другому чувствуют?

– Нет, нет. Все то же самое... Они несколько иначе воспитаны. Но они... они прекрасны, – сказал Невпрус. – Я всю жизнь... Всю свою жизнь...

– И вы достигли с ними счастья? – спросил Гоч торжественно.

– Счастья нет. – Невпрус покачал головой. – Счастье недостижимо. Но я считаю, что мне дано было много покоя и воли и всяких радостей. И я просто уверен, что вот вы, вы могли бы быть счастливы с женщиной. В том числе и с русской. – Он увидел мечтательное лицо Гоча и

добавил с воодушевлением: – Сегодня же вечером я поведу вас в вагончик энергетиков. Там есть весьма и весьма милые женские существа. Когда я гляжу на них... Куда вы?

Гоч выглянул в коридор. Прошептал от двери:

– Значит, до вечера?

И исчез, точно растворился. Не слышно было ни шагов, ни скрипа дверей. Однако, выглянув в коридор, Невпрус сразу увидел на полу эти чистые мокрые следы без запаха мочи.

* * *

– Конечно, если бы ты посватался к местной девушке, все стало бы и сложнее, и проще, – объяснял Невпрус дорогой. Они с Гочем взбирались по склону к вагончику энергетиков, где приветно светились окна. – Мы внесли бы за тебя калым, потом была бы свадьба, и на ней ты увидел бы свою невесту. К сожалению, мой горный друг, оба мы небогаты. До такой степени небогаты, что ни о каком калыме просто не может быть речи, иначе я женил бы тебя здесь, и только здесь... – Гоч растроганно кивал. – С русской девушкой все будет иначе, – продолжал Невпрус увлеченно. – С ней нужно познакомиться заранее, до свадьбы. Ей еще надо понравиться. За ней, может, придется поухаживать, надеюсь, впрочем, что не очень долго. Для меня все это было бы слишком утомительно, но ты еще молод, и тебя это, может быть, даже развлечет. Зато, конечно, никогда нельзя поручиться за прочность такого недорогостоящего союза. Впрочем, все тут будет зависеть от вас, от вас обоих, и только от вас, от вашей, так сказать, осознанной или неосознанной необходимости, ибо мы живем в царстве сексуальной свободы...

Энергетики, привыкшие к самозванцам, встретили их со спокойным и даже несколько сдержанным радушием (конечно, на несколько тысяч километров западнее такой прием казался бы теплым и даже восторженным): видно, гости все же поднадоели им за вечер.

– Заходите, мы всем рады, – сказала девушка Фая и принесла им чай с карамелью.

– Наш дом открыт... бум-бум... особенно для иностранных, – сказал старший энергетик Геворк Соломонович, передвигая фигуру на шахматной доске.

«Как в воду глядел начальник», – усмехнулся про себя Невпрус.

Телевизор в тоске бубнил что-то про узкопропашное мелкобозродье. Ясно было, что кривая подъема сельского хозяйства уползает куда-то в заоблачную высоту. Оставалось пожинать плоды. Однако время жатвы еще, вероятно, не пришло, что не могло умерить энтузиазм диктора. Энергетикам, кажется, не мешал бубнеж телевизора. Он, похоже, не оскорблял их эстетического чувства. Он вообще не задевал их чувств. Когда Гоч, желая быть предельно светским и общительным, кивнул на лысого диктора и спросил, всегда ли говорит правду этот человек, лишенный волос, – на него посмотрели как на бедолагу, удравшего из районной психбольницы. Геворк Соломонович нахмурился и еще глубже ушел в шахматную игру: он терпеть не мог провокаторов. Электрик Болтусовский только хмыкнул, а девушка Фая, жалостливо взглянув на Гоча, принесла ему остатки торта. Закаленный Гоч съел их на глазах у изумленного Невпруса и, вероятно, даже переварил.

«Все так, все правильно, – подумал Невпрус, – он и должен давить на жалость. Фая нам, пожалуй, подходит. Она татарка. Или она смесь татарки с украинкой. Это было бы еще лучше...»

Телевизор сообщил, что президент Рейган вербует головорезов для того, чтобы вырезать на корню все миролюбивые народы.

– Боже, – сказал Гоч. – В какие неделикатные руки народы вверяют свою судьбу!

Никто не понял, к чему это относится.

– Хотите манной каши? – откликнулась Фая. – Много каши осталось.

Гоч на время заткнулся манной кашей. А Невпрус думал о руках. Разве деликатные руки смогут удержать вожжи правления? И может быть, у Александра Федоровича были деликатные

руки. Впрочем, ведь и вполне холёные руки могут себя марать без колебаний. Петр Аркадьевич вручал денежки на «Союз русского народа»... Певец Петра Аркадьевича об этом умалчивает. Он вяжет свои узлы, просеивая чужие мемуары и словарь Даля (ах, вы, наш сеятель!), а в промежутках играет в теннис. Играть как Владим Владимыч он, впрочем, уже не научится, поздно начал. Но с Далем, что ж... Безошибочный инстинкт Даля влек его в те края, где русские были еще более русскими, чем в самой России. Неспроста же он мечтал быть казаком, да еще луганским. Может, он предвещал появление храброго Клим, замудоханного Палеевского или дерзновенного Шолохова. А может, и самого автора узловатой истории нового века...

– Главное – это человеческий фактор, – сказал вдруг с уверенностью Геворк Соломонович и сделал рокировку. Никто не понял, о чем он, однако всем было известно, что старший энергетик зря болтать не станет.

Гоч отер губы рукавом своего странного бешмета и, привстав, поцеловал Фаину руку.

– С Кавказа, что ль? – пренебрежительно спросил электрик Болтусовский.

Гоч кивнул и неопределенно махнул рукой за перевал.

– Откуда именно с Кавказа? – упрямо спросил Болтусовский.

– Мой друг – дагестанец, – ввернул Невпрус.

– Собственно говоря... – начал Гоч неуверенно.

– Дагестанец дагестанцу тоже рознь, – упрямо сказал Болтусовский.

– Правда?

– А то нет? – Болтусовский был в раздраженном недопитии. – Аварец, к примеру, и даргинец – тут две большие разницы. И лакец, к примеру, им не ровня.

– Это возможно, – согласился Невпрус, размышляя над тем, какой же из этих загадочных народов стоит выше на энергетической шкале ценностей.

– Опять же, рутулец и табасаранец или, скажем, лезгин – это не то что тат. А вот возьмите кумык или ногоец – опять совсем другая статья...

– Столько прекрасных подвигов, – сказал Невпрус, соображая, как бы ему увести разговор в более спокойные воды.

– Подумать, сколь изумительно это почти неразличимое с высоты разнообразие мира Божьего! – сказал Гоч восхищенно.

– Однако разница между табасаранцем и татом простым глазом видна, – с вызовом сказал электрик.

Невпрус покосился на него с опаской: черт его знает, чего от него ждать. И чего он вообще хочет? Может, он борец за освобождение табасаранского народа от гнета рутулов. А может, просто он пил сегодня не то и некстати.

– Может, вы икры кабачковой хотите? – вполголоса спросила Фая у Гоча. – Все равно выбрасывать.

«Она устремляется в его сердце самым прямым путем», – подумал Невпрус, одновременно и радуясь успеху затеянной им интриги, и опасаясь за ее последствия.

– Я не знаю, что это значит, – сказал Гоч, поклонившись, – но я постараюсь съесть эту икру.

– Из каких же вы таких нацменов? – спросил Болтусовский с обидой на недостаточное внимание.

– Из этих... Из всяких... – неопределенно сказал Гоч. – А что такое, объясните мне, чечмек? – спросил он вдруг.

– Н-ну, это вот эти разные, которые тут у нас живут, – объяснил Болтусовский, со смущением глядя на старшего энергетика, принадлежность которого к чечмекам оставалась как бы невыясненной.

– Значит, я чечмек, – обрадованно сказал Гоч и бесстрашно налег на икру.

Когда он наконец очистил опустошенную банку корочкой белого хлеба, Невпрус взял его за руку и торопливо простился. Фаечка вышла вслед за ними под звезды.

– Теперь вы, молодежь, можете погулять, а я спать пойду, – сказал Невпрус, деликатно удаляясь в тень. – Ты только не заморозь девушку, друг мой Гоч.

Уже с дороги Невпрус услышал юный голос Гоча:

– А чечмек и чеченец – это тоже разные люди?

Невпрус с любопытством дожидался ответа, однако пауза что-то затянулась. В завершение ее раздался чмокающий звук. Похоже было, что вопрос Гоча решил в его пользу последние Фаины колебания. Чмокающий звук наводил на мысль, что целоваться Гоч толком не умеет. Впрочем, могло случиться, что он был представителем иной, не вполне современной любовной школы... Невпрус вдруг ощутил на плечах тяжкий груз моральной ответственности и отправился к сторожам, чтобы рассеять тягостный привкус неудавшегося европейского чаепития.

– Молодец, – сказал сторож в чалме, наливая ему чай в пиалу. – Ой, молодец! Совсем как наши люди.

– Я такой – и нашим, и вашим, – сказал Невпрус, прижимая к сердцу левую руку. – Это я вам говорю как табасаранец табасаранцу...

* * *

Роман Фаи с Гочем развивался с той стремительностью, с какой прогрессирует всякое недомогание в высокогорье. Иногда, вспоминая о тягостных морально-физических претензиях, свойственных романтической русской девушке, Невпрус начинал испытывать угрызения совести. Надо было все же набрать денег и женить парня на местной девушке. В конце концов, можно было придумать какую-нибудь финансовую авантюру. Например, похитить супругу Пидулова (или супругу Бидоева) и потребовать за нее выкуп серебряными тканями, арабским сервантом, конфетами, халатами и барашками. Женщина, каждая грудь которой весила добрых полпуда, стоит выкупа, а солидная женитьба для Гоча стоит всяких авантюрно-криминальных хлопот. Другими словами, игра стоила свеч. Если б еще уметь... Теперь же оставалось только ждать дальнейшего развития событий. О нем Гоч докладывал Невпрусу. Сам Гоч на правах жениха окончательно переселился теперь в вагончик энергетиков (даже Геворк Соломонович не возражал против этого, поскольку речь шла о жизненном устройстве его ценной работницы и активистки). Фая призналась Гочу, что в ее жилах, наряду с татарской, течет русская (рязанская), а также еврейская (гомельская) кровь. Последнее, особо доверительное сообщение она сделала страшным шепотом, но Гоч все равно не понял, в чем смысл этой странной алхимии. Фая призналась также, что она не девушка (без предупреждения Гоч, вероятно, ничего бы не заметил, а предупрежденный – был озадачен) и что у нее есть пятилетний ребенок (это Гоч наверняка заметил бы и сам позднее). Она работала техником и активно занималась профсоюзной работой. Работу эту (на основе Фаиных рассказов) Гоч понял как род благотворительной деятельности, сопряженной, впрочем, с большим количеством бесчисленных обрядов, а также устаревших ритуалов, например продолжительных собраний с заклинаниями и групповым гипнозом. Во время того единственного их свидания, когда им удалось остаться наедине в домике энергетиков, Гоч обнаружил в Фае некоторые запасы нерастраченного тепла и был окончательно покорен. Смысл происшедшего остался ему, впрочем, непонятен, и Фая, растроганная его неопытностью, обещала ему «привыкнуть», а также «перестать стесняться».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.